# Итальянские слезы

***Возле Братска, в посёлке Анзёба,
плакал рыжий хмельной кладовщик.
Это страшно всегда до озноба,
если плачет не баба — мужик.

И глаза беззащитными были
и кричали о боли своей,
голубые, насквозь голубые,
как у пьяниц и малых детей.

Он опять подливал, выпивая,
усмехался; «А, всё это блажь!»
И жена его плакала: «Ваня,
лучше выпей, да только не плачь».

Говорил он, тяжёлый, поникший,
как, попав под Смоленском в полон,
девятнадцатилетним парнишкой
был отправлен в Италию он:

«Но лопата, браток, не копала
в ограждённой от всех полосе,
а роса на шоссе проступала,
понимаешь — роса на шоссе!

И однажды с корзинкою мимо
итальянка-девчушечка шла,
и, что люди — голодные, мигом,
будто русской была, поняла.

Вся чернявая, словно грачонок,
протянула какой-то их фрукт
из своих семилетних ручонок,
как из бабьих жалетельных рук.

Ну а этим фашистам проклятым —
что им дети, что люди кругом,
и солдат её вдарил прикладом
и вдобавок ещё — сапогом.

И упала, раскинувши руки,
и затылок — весь в кровь о шоссе,
и заплакала горько, по-русски,
так, что сразу мы поняли все.

Сколько наша братва отстрадала,
оттерпела от дома вдали,
но чтоб эта девчушка рыдала,
мы уже потерпеть не могли.

И овчарок, солдат мы — в лопаты,
рассекая их сучьи хрящи,
ну а после уже — в автоматы.
Оказались они хороши.

И свобода нам хлынула в горло,
и, вертлявая, словно юла,
к партизанам их тамошним в горы
та девчушечка нас повела.

Были там и рабочие парни,
и крестьяне — все дрались на ять!
Был священник, по-ихнему «падре»
(так что бога я стал уважать).

Мы делили затяжки, и пули,
и любой сокровенный секрет,
и порою, ей-богу, я путал,
кто был русский в отряде, кто — нет.

Что оливы, браток, что берёзы —
это, в общем, почти всё равно.
Итальянские, русские слёзы
и любые — всё это одно…»

«А потом?» —
«А потом при оружье
мы входили под музыку в Рим.
Гладиолусы плюхались в лужи,
и шагали мы прямо по ним.

Развевался и флаг партизанский,
и французский, и английский был,
и зебрастый американский…
Лишь про нашенский Рим позабыл.

Но один старичишка у храма
подошёл и по-русски сказал:
«Я шофёр из посольства Сиама.
Наш посол был фашист… Он сбежал…

Эмигрант я, но родину помню.
Здесь он, рядом, тот брошенный дом.
Флаг, взгляните-ка, — алое поле, —
только лев затесался на нём».

И тогда, не смущаясь нимало,
финкарями спороли мы льва,
но чего-то ещё не хватало —
мы не поняли даже сперва.

А чернявый грачонок — Мария,
(да простит ей сиамский посол!)
хвать-ка ножницы из барберии
да и шварк от юбчонки подол!

И чего-то она верещала,
улыбалась — хитрёхонько так,
и чего-то она вырезала,
а потом нашивала на флаг.

И взлетел — аж глаза стали мокнуть
у братвы загрубелой, лютой —
красный флаг, а на нём серп и молот
из юбчонки девчушечки той…»

«А потом?»
Похмурел он, запнувшись,
дёрнул спирта под сливовый джем,
а лицо было в детских веснушках
и в морщинах — не детских совсем.

«А потом через Каспий мы плыли,
улыбались, и в пляс на борту.
Мы героями вроде как были,
но героями — лишь до Баку.

Гладиолусами не встречали,
а встречали, браток, при штыках.
По-немецки овчарки рычали
на отечественных поводках.

Конвоиров безусые лица
с подозреньем смотрели на нас,
и кричали мальчишки нам: «Фрицы!» —
так, что слёзы вставали у глаз.

Весь в прыщах лейтенант-необстрелок
в форме новенькой — так его мать! —
нам спокойно сказал: «Без истерик!» —
и добавил: «Оружие сдать!»

Мы на этот приказ наплевали,
мы гордились оружьем своим:
«Нам без боя его не давали,
и без боя его не сдадим».

Но солдатики нас по-пастушьи
привели, как овец, сосчитав,
к так знакомой железной подружке
в так знакомых железных цветах.

И куда ты негаданно делась
в нашей собственной кровной стране,
партизанская прежняя смелость?
Или, может, приснилась во сне?

Опустили мы головы низко
и оружие сдали легко.
До Италии было не близко.
До свободы — совсем далеко.

Я, сдавая оружье и шмотки,
под рубахою спрятал тот флаг,
но его отобрали при шмоне:
«Недостоин, — сказали, — ты враг…»

И лежал на оружье безмолвном,
что досталось нам в битве святой,
красный флаг, а на нём — серп и молот
из юбчонки девчушечки той…»

«А потом?»
Усмехнулся он желчно,
после спирту ещё пропустил
да и ложкой комкастого джема,
искривившись, его подсластил.

Вновь лицо он сдержал через силу
и не знал, его спрятать куда.
«А, не стоит… Что было — то было.
Только б не было так никогда.

Завтра рано вставать мне — работа.
Ну а будешь в Италии ты:
где-то в городе Монте-Ротонда
там живут партизаны-браты.

И Мария — вся в чёрных колечках,
а теперь уж в седых — столько лет…
Передай — если помнит, конечно, —
ей от рыжего Вани привет.

Ну не надо про лагерь, понятно.
Как сказал — что прошло, то прошло.
Ты скажи им — им будет приятно:
«В общем, Ваня живёт хорошо…»

Ваня, всё же я в Монте-Ротонде
побывал, как просил меня ты.
Там крестьянин, шофёр и ремонтник
обнимали меня, как браты.

Не застал я сеньоры Марии.
На минуту зашёл в её дом,
и взглянули твои голубые
С фотографии — рядом с Христом.

Меня спрашивали и крестьяне,
и священник, и дровосек:
«Как там Ванья? Как Ванья? Как Ванья? —
И вздыхали: — Какой человек!»

Партизаны стояли рядами —
столько их для расспросов пришло,
и твердил я, скрывая рыданья:
«В общем, Ваня живёт хорошо».

Были мы ни пьяны, ни тверёзы —
просто пели и пили вино.
Итальянские, русские слёзы
и любые — всё это одно.

Что ж ты плачешь, опять наливая,
что ж ты цедишь: «А, всё это — блажь!»?
Тебя помнит Италия, Ваня,
и запомнит Россия. Не плачь.***